

*«Люди моей з д чи ч сто умир ют тридц ти семи лет».*  
Хлебников

*«Если ты хочешь проникнуть в т йны физики,  
то ты должен посвятить себя в мистерии поэзии».*  
Шлегель

## **Back in the USSR**

Знаете, дорогой читатель, какие строки повлияли на юного тщедушного меня, рвущего на заре взрослой жизни корни волос из «лукавой хари» неповоротливого бытия; меня, сражающегося-горящего «в гневе, в яри, под визг верховный колеса» за место под солнцем:

Гражданки и граждане  
Меня – государства

Тысячеоконных кудрей толпились у окон.  
Ольги и Игори,  
Не по заказу  
Радуясь солнцу, смотрели сквозь кожу.  
Пала темница рубашки!  
А я просто снял рубашку,  
Дал солнце народам Меня!  
Голый стоял около моря...

«Ольги и Игори...», – вот что сразило тогда! Рядом находилась в тот момент милая девочка Ольга...

Не князь и не княгиня, мы весело рожали с ней детей, как в хлебниковских реминисценциях Киевской Руси делали древние «тысячеоконники». И так же в «толпах загара» радовались морю, «смотрели сквозь кожу», чувствуя друг в друге абсолютное единение и свободу безмерного счастья. Овеществляя себя с «осью вращения» сущего, не менее. Готовые стать частью скорой скорбной «мировой молнии» надвигающихся преобразований. Но это личное... И об этом напишу когда-нибудь роман.

Середина – конец 80-х годов двадцатого столетия, – слом эпох, – отметились, как пели битлы, возвратом в СССР многих полузабытых, утраченных и попросту запрещённых имён из сферы культуры и искусства – отечественных и зарубежных. Серебряный век, писатели-эмигранты, андеграунд, советское подполье, западный модерн. Кафка, Бердяев, Маркес, Платонов, Гроссман, Пригов. Не счастье. На прилавки вернулись реинкарнированные Бунин, Бродский, Хлебников, – особенно потрясший.

Невзирая на далеко не литературную деятельность, невзирая на вечный бег, – сияя на ходу молодыми лопастями, как «снежными снопами», – занимаясь воспитанием и подъёмом первых отпрысков, судорожным поиском денег и смысла жизни, – притормозить-призадуматься меня заставил-таки Хлебников и никто другой. Встать как вкопанный и... воззреть-взметнуться ввысь. В поисках лестницы, разумеется.



Велемир Хлебников

(Удивлю наверно кого-нибудь, но Хлебников ассоциировался тогда с *Led Zeppelin*.)

И, задрвав кверху нос, продираясь вглубь галактик, отрезать по-хлебниковски, – любившим, кстати, декламируя стихи, иронично оборвать чтение на полуслове: «Ну и так далее...». (Его сарказм переходил порой в бурлеск. До срыва от высокого к низкому – и наоборот: «Она раздумывала: прилично ли нагой явиться к незнакомому мужчине».)

Слишком всё было схоже меж этими: потухающими советскими – и теми: меркнувшими имперскими – хлебниковскими небесами.

Взрывное предвестие нового, неизвестного. Небывалый подъём массового самосознания. Свет чудесных и неизбывных до сего часа «трепетных лучей» надежд – эсхатологического Предчувствия.

И тот язык, неслыханный доселе. И те метафоры-сентенции, невыразимые, непредсказуемые, непересказываемые, – а только лишь контурируемые, узнаваемые иератическим взглядом к нему причастных. Ощущение Голгофы, которая у каждого своя... Ощущения Поэзии с большой буквы, которые тоже у каждого свои.

И то была последняя инкарнация Хлебникова. Навсегда. До скончания Космоса: «...вдруг я поверил навеки, что предначертано там».

### **«Открыть Россию в её законах»**

*...Дети росли странные, дикие,  
Безвольные, к к дитя,  
Вольные и всё,  
Ничего не хотя.  
Художники, пис тели,  
Изобрет тели.* (В. Хлебников о семье)

«Часто сетуют на сочинителя за то, что его сочинение не довольно понятно; но есть творение, которое всех других непостижимее, – вселенная», – в точку попал В. Одоевский в 1840-х гг., словно пророка появление в будущем властителя «хребтов вселенной, понимающих века», – Велимира Хлебникова.

Бунтаря, одновременно примирителя. Сиротливо замкнутого певца невысказанных снов, грёз – одновременно, сейчас бы произнесли: мультиинструменталиста, мультиполифониста. Неловкого и беспомощного в повседневности – принципиально твёрдого, даже жёсткого в вопросах взаимоотношений литературы и дей-

ствительности. Затронутого выше Одоевского, к слову, почитавшего и обожавшего за страсть к наукам и искусству:

«...работая целыми днями над изысканием чисел в Публичной библиотеке, Хлебников забывал есть и пить и возвращался измученный, серый от усталости и голода, в глубокой сосредоточенности. Его с трудом можно было оторвать от вычислений и засадить за стол», – вспоминает М. Матюшин.

Конечно же, Хлебников не совсем подходит под стандартное определение «классика русской литературы». В отличие, скажем, от его духовного близнеца и предвестника Тютчева. За коим он трепетно следовал и с которым, заочно, яростно спорил всю жизнь, не соглашаясь, противостоя: «Ночь смотрится, как Тютчев, замерное безмерным полня» или «..о, Тютчев туч». В этом отношении последнему значительно «повезло» – тут и биографическая близость к гениям XVIII века, и знакомство с Пушкиным, Шеллингом, Гейне, окружением Белинского. Может статься, некая поколенческая зависть не давала покою заунывному «вечернему страннику», изгоя и провидцу, предрекшему 1917-й? «Цари отреклись. Кобылица свободы!»...

Хотя академической ясности и фольклорной простоты у Хлебникова никто не отнимал. Правда, вселенную неприятия и непонимания он прорубил всё-таки вещами невероятно «загадочной сложности и прямо-таки мучительной темноты» (Р. Дуганов).

Изобретатель инновационных методов, «наиболее разрешающих поэтическую задачу» – да. Творец «особого бога, особой веры и особого устава» – да. Человек, соединивший буйство непокорных строф с буйством природы – да, да, да.

Со студенчества, будучи многообещающим натуралистом, Хлебников связал невероятное разнообразие стилистик, противоречивых, сумбурных, самобытных, – в единую метеорологическую карту полноты окружающего нас мира и... социальной погоды в обществе, получив общественный диагноз «испытателя». И собственный – «изобретателя».

Напитанный интертекстом, точнее даже, интеробразом, выходящим за рамки «мысленного изваяния», – где пушкинская избушка на курьих ножках превращается во «врематую избушку» со старушонкой в «кичке вечности», – Хлебников до невероятных пределов расширяет границы непосредственно самого произведения. Авторски иллюминированного, эксплицированного в реальность «бесконечное число раз».

## Земля живёт смертью воды

К четырём гераклитовским символам – земля, вода, воздух, огонь – Хлебников добавляет пятый, важнейший в творчестве: символ «духа», воплощённый... в песне: «...когда умирают люди, – поют песни». Возвышая личное, мелочное, разрозненное – до единого и безграничного «взлома вселенной», где бережно сплетённая у окна девичья коса превращается в Млечный Путь – «батыеву» дорогу, ведущую человечество в «полночь широкое» небо. (Как, помнится, когда-то сам Хлебников привёл вашего покорного слугу к поэзии.) Чтобы соорудить из божественной космической «гостиной созвездий» чрезвычайное происшествие «говорящей куклы»: ведь небо и лирика родственны. Сходно восторгу, экзальтации влюблённых, одно материализуется из другого, и наоборот. Подобно родственности, по своей сути, неистовства стихий и... арифметики. Подобно интимной близости истории Культуры – дикой безбрежности океана. Естеству.

Отчего оказался отвергнутым, не принятым в литературный круг (в начале XX в. – символистский). Потому что всё, им написанное, было слишком и категорически серьёзно, дабы это понять, воспринять от ещё довольно молодого, неокрепшего «присяжного» студента-провинциала: «косматый баловень природы, и математик и поэт...», – тут же рисуется из «жара веков» Александр Сергеевич.

Признанные мэтры (Кузмин, Городецкий, В. Иванов, Н. Гумилёв) даже не «шевелили пальцем» в сторону безумца, знобимого «мистической лихорадкой». Глазами мечущего молнии. Взмахом руки повелевающего облакам и апоплексическим законам громовых штормов ощеривать зубы на враждебный круг гротеска – социум. Не заметив, пропустив (от надменности ли, непомерной занятости собой, – кто знает?) первую, вполне гётевскую инкарнацию мастера, уже тогда перевернувшего вверх тормашками эстетические и художественно-методологические литературные принципы. Основанные не на иерархии временных построений, условной предметности и их преемственности. А на иерархии «невиданного» доселе зверя – слова. Гения, с младых ногтей утверждавшего, мол, абсолютно всё, не противоречащее духу русского языка, «дозволено поэту», включая знаменитые хлебниковские отступления – поэзо-картинки, графические узоры, разгоняющие «боль тоски». Токмо лишь вселяющие в исследователя филологическую апорию, упирающуюся в невозможность вынуть из хлеб-

никовских слово- и «видео»-образов воображаемое. Как, представим, они без церемоний «вынимаются» из картин Босха, Брейгеля или Калло, кодирующих сюжеты всецело понятной символикой, пусть и агглютинативно-фантастической акупунктуры. Создавая гипертрофированную мистерию иллюзий, – тем не менее, в предметном изложении.

(Потом, позднее, все они, хором, воспрянут славословием «идиотических Эйнштейнов». Но Хлебникову похвалы уже будут не нужны.)

Так, предметно, точнее даже, предсмертно-чувственно живописует Флобер:

*«...Головы лиз торов и ног и косуль, совы с змеиными хвост ми, свиньи с мордой тигр , козы с ослиным з дом, лягушки, мохн тые к к медведи, и мелеоны ростом с гиппопот мов, телят о двух голов и – одной пл чущей, другой мыч щей, четверни-недоноски, связ нные друг с другом пуповиной и круж щиеся к к волчки, крыл тые животы, порх ющие к к мошки, – чего тут только нет. (...) Повсюду пыл ют гл з , ревут и сти, выпячив ются груди, вытягив ются когти, скрежещут зубы, плещутся тел . Одни из них рож ют, другие совокупляются, то одним глотком пожир ют друг друг ».*

О вышеприведённом отрывке вполне можно поведать другими словами.

Что вряд ли выйдет с хлебниковскими словотворчествами и стихо-поэзами типа «Искушение грешника», «Любовь» или рукописью стихотворения «Умночий сияний межзвёздных» (1908). Каковые описанию не поддаются: «правдоцветиковый папоротник», «сомнениекрылая ласточка», «достоевскиймо», «пушкиноты». А поддаются лишь внешнему наблюдению с элементами очистительного экзорцизма: «Сущность поэзии – это жизнь слова в нём самом, вне истории народа и прошлого народа», – аксиоматично заявлял он ещё в зачатке пути.

Сравним:

*«И повсюду лет ли пустотелые с безбытийными взор ми вр ны, и всё сущее было лишь дупл в дебле пустоты. И молч ниехвостый вр н туд и сюд лет л н д опустелыми жуткими нив ми. И был кривдист я пр вд , и к ч лись грусточки и д озером грустин, и был умночий пуци зол, и уж с стоял в полях мыслезёмных и пение луков меняубийц...»* Хлебников.

Впрочем интересно, что современный эклектический новояз накладывает на его тексты оттенки свежих семантических

корреляций. Как, в частности, в предыдущей фразе из «Искушения»: «пение луков меняубийц» – тогда читалось следующим манером: луки со стрелами кружат вокруг, поют к тому же (сказано иронично-тонко: будто наслаждаясь) и жаждут твоей гибели.

Сегодня слово «лук» читается производной от английского *look* – смотреть. То есть в данном контексте – «пение летающих обморачивающих меня смертоносных гляделок-глазелок», «глазолуков» (моя придумка-неологизм под стать Х. – И. Ф.), что тоже слышится неплохо ввиду необозримого хлебниковского сарказма, доходящего до летальных рубежей, и выше – в пустоту «разверзшихся десниц».

Неудивительно, что, не привеченного и не понятого в знаменитой «башне» искушённых филологов и лорнированных культурологов Вячеслава Иванова, его с распостёртыми объятиями приняла футуристическая поросль. С искромётно-необузданным стихийным чутьём ко всему подлинному, живому. Жадно впитывая и перерабатывая звуковой, интонационный и ритмический строй его строфы. Сделав из сюжета, хлебниковской идеи «восстания природы» магистральный стержень всего футуристического движения, на фоне которого Маяковский казался лишь догоняющим игроком, полузащитником, чуть запаздывавшим своею мощью, – несомненно яркой, – за передовой мощью мыслей, идей и поразительных фотометрических конструкций-конфигураций Хлебникова-«нападающего».

С Вяч. Ивановым они ещё пофехтуют, перебрасываясь изощрёнными гётевским протуберанцами и пушкинским аллюзиями: «Его люблю, и мнится – будет он славянскому на помощь Возрожденью», – признавая очевидную мету гения, Иванов лукаво, пофаустовски не хотел нарушать статусов, господних норм течения судеб, источающих хлебниковский ток «между различным числом сил, уравнивающих их», отмечая, что «...пройдёт не менее ста лет, пока человечество обратит на Хлебникова внимание». И был прав. И так же неправ.

Ученик-Велимир был обижен. ...Продолжая любить дорогого учителя до конца дней.

Художник «числа вечной головы вселенной», он, в отличие от того же Маяковского, не старался светиться в концертах. Крайне мало заботится о публикациях – вещь сочинена, следовательно, она живёт! Доверяя всю практическую, издательскую работу друзьям. Вдохновение же доверяя симбиозу математики, поэзии

и невероятностям окружающих форм действительности – «ломке миров живописных»:

«Где он жил, – не знаю, – отыскиваем в дневнике Л. Ю. Брик. – Писал Хлебников постоянно и написанное запихивал в наволочку или терял. Когда уезжал в другой город, наволочку оставлял, где попало. Бурлюк ходил за ним и подбирал, но большинство рукописей всё-таки пропало. Корректуру за него всегда делал кто-нибудь, боялись дать ему в руки – обязательно всё перепишет наново, и так без конца».

## Жизнь слов

Война отложила в нём неуходящей болью, ненавистью «перевоплощения в животное»: «Вши тупо молились мне, каждое утро ползли по одежде, каждое утро я казнил их...». Но не принудила замолчать.

Наоборот, мечтая оттуда выбраться, он грезил подчинить себе самое время, пытаясь предсказать и далее вовсе трансформировать ход войны, чтобы «из положения внутри мышеловки перейти в положение её плотника» – силою размышления, одиноким напряжением ума. Прекрасно осознавая, что мысль объективно не в состоянии изменить материальный процесс – оттого мучаясь ещё страшней. Злей.

Страдая и теряя рассудок, он покидает поле боя с привкусом бескрайней «нагой» свободы, с ощущением единства всего земного шара и неба, воплощённых в нём одном.

И это была очередная инкарнация Хлебникова: один – во множестве миров. Среди отчаянной тьмы беды и горя. На мрачно потускневших осколках им же созданного всесветного балаган-шоу – футуризма: «чудовища», волею судеб оказавшегося «в тысячи раз» громче своего западного собрата.

«...я увидел воочию оживший язык. (...) Я стоял лицом к лицу с невероятным явлением. Гумбольдтовское понимание языка, как искусства, находило себе красноречивейшее подтверждение в произведениях Хлебникова, с той только потрясающей оговоркой, что процесс, мыслившийся до сих пор как функция коллективного сознания целого народа, был воплощён в творчестве одного человека», – восхищался Б. Лившиц, удостоверяя роль Хлебникова в создании поэтической школы самого себя.

Никого и ничего больше. Без примесей и аккомпанемента.

...До печального конца, итога оставалось пять долгих лет. И он это знал. И катастрофически много работал.



**Октябрь, 1917.** Воспоминания «Октябрь на Неве», поэма «Ночной обыск». События в Петрограде.

**Ноябрь, 1917.** Поэма «Сёстры-молнии». Бои в Москве.

**1918.** Воспоминания «Никто не будет отрицать того...» и поэма «Ночь перед Советами». Революционное движение на Волге, в Астрахани

**1919 – 1920.** «Малиновая шашка», «Каменная баба», «Полужелезная изба». Гражданская война на Украине, поход Деникина на Москву, его разгром.

**1920 – 1921.** «Труба Гуль-муллы». Освободительное движение на Востоке. Персия, Кавказ.

Кроме того великое множество стихотворений, поэм: в последнее пятилетие создано более половины из пятидесяти.

Сверхзадача, осуществляемая последние годы – создание некой этимологически «Единой книги», зараз объединившей бы все виды и роды литературы в диковинный жанр – «сверхповесть». С навязчивой идеей абсолютного «возвращения назад»: субстанционально, в фенологическом значении движения «внутри», к архаике, исподнему. Исполнимому, без сомнения, и в будущем – не только в «возрожденческом» вчера: «мы у прошлого только в гостях».

Сценарий, стержень книги – естественно и непреложно – «грозовой вихрь, снежный буран» русского революционного движения.

Калечащая, обманывающая многих достойных, буря «зверечеловеков» выносит на сушу «невредимых недостойных; но – это её частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издаёт поток. Гул этот всё равно всегда – о великом», – к максималистски-хвалебным блоковским сентенциям Хлебников добавляет натурфилософское отношение к революции с точки зрения социологии как функции природы, *Nature*, подчиняющейся непрерывно продолжающемуся развитию природных необходимостей: её диалектике. Своим всеобъемлющим нейрогенезом общечеловеческого космизма (наряду с «пневмосферой» Флоренского и «психосферой» Чижевского; тут и «всеединство» Соловьёва можно упомянуть) чуть отталкивая в сторону логику собственно социальную, нравственную, экономическую, наконец. Virtuозно-искусственно сводя строение строгих наук – грамматики, физиологии, истории,

статистики, географии – к строению извечных законов: «науке о небе». Я бы окрестил шире: «наукой о себе».

Книгу, названную «Доски судьбы», он не доделал.

Оставив её заканчивать «животному инобытию». И нам, будущим «царей потомкам». Присовокупим однако, одна из лучших мифопоэм «Ладомир», перекликающаяся с его литературным именем Велимир, – хоть и имеет завершённую структуру, – также кажется неоконченной, а точнее, бесконечной: в ней дозвоительно, как в мудрых баховских секвенциях, перетекать-модулировать куда угодно и приступать к тексту с любой строчки. То же и с «Досками».

Да и, резюмируем, могла ли сверхкнига быть дописанной, ежели говорится в ней о вещах нескончаемого свойства, основные положения которых, не ведая того, – пересекаясь с трудами Вернадского о ноосфере: «живом веществе», – зиждутся на геологических масштабах деятельности гомо сапиенс и на утверждении, что «не события управляют временами, но времена управляют событиями».

Где воля к наибольшему объёму равенства охвачена «обручем неравенств», а скупость на числа даёт шустрим одиноким цифрам крылья, чтобы стремглав умчаться «в действие возведения в степень»: «...и пусть пространство Лобачевского летит с знамён ночного Невского» или «Идёт число на смену верам и держит кормчего труды».

Подтверждая гётевский принцип о неправомерности научного знания «почему и для чего» это произошло, а только – «как именно» произошло. Оставляя причинно-следственные связи – литературе, писательству, мыслеформам.

Синхронно спаивая, сковывая науку с поэзией в облаках рассчитанной и геометрически, ономастически обоснованной ноосферы. К расчётам применяя собственные философские и естественнонаучные понятия-открытия, сходные с изобретением процесса цефализации земли, – посредством метафор-«мыслезёмов»: «Земля волит быть мозгом!» – Таким образом снимаемая с повестки дня вопрос первичности «духа» либо «вещества». Ведь они, по сути, едины.

Холод строгих плоскостей,  
Чисел нежные кривые, –  
Чтоб мятежней без властей  
Самоправились живые.

Послереволюционная реинкарнация Хлебникова происходит одновременно с посмертным изданием пятитомника в 1928–1933 годах, вернув поэта эстетическому народному сознанию, вплоть до наречения литературного наследия академическим, что, кстати, полагал Маяковский, могло лишь навредить имени автора, «угробить» его. Какой же он литературный «классик»?.. – вопрошал «гиперболист» Маяковский. – Да он обыкновенный учёный, создавший целую периодическую систему слов, снов, чисел и апофегм-парадоксов, объясняющих устройство макрокосма. Да и микро тоже.

А может, просто бог... «замыкающий трепет вселенной». Покинувший бранный мир схоже другому бесноватому владыке – Пушкину, «бродяге дум и другу повес», – таким же светлым, молодым, полным велеречивых планов и неразгаданных формул.

Засим прощаюсь.

Ниппуда, боалтамо, гилтовека, пюдда!

Коффудамо, шираффо, сцохалемо, шолда!

Шоно, шоно, шоно!

Пинцо, пинцо, пинцо!

**«Я знаю, что я умру лет через 100, но если верно, что мы умираем, начиная с рождения, то я никогда так сильно не умирал, как эти дни».** Хлебников, 1909 г., в минуту творческого подъёма.

Я вышел юношей, один  
В глухую ночь,  
Покрытый до земли  
Тугими волосами.  
Кругом стояла ночь  
И было одиноко.  
Хотелось друзей,  
Хотелось себя.  
Я волосы зажжёт,  
Бросался лоскутами колец  
И зажигал кругом себя.  
Зажжёт поля, деревья,  
И стало веселей.  
Горело Хлебникова поле...